

СЕРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ

Paul Kelly

Conflict, War and Revolution

*The Problem of Politics in International
Political Thought*

Пол Келли

Конфликт, война и революция

*Проблема политики в концепциях
международных отношений*

Перевод с английского
Дмитрия Кралечкина
под научной редакцией
Софьи Щукиной

Издательский дом
Высшей школы экономики
Москва, 2025

УДК 355.01
ББК 87.7+63.3(0)
К34



<https://elibrary.ru/qzxxwil>

Проект серийных монографий
по социально-экономическим
и гуманитарным наукам
Руководитель проекта Александр Павлов

Келли, Пол

К34 Конфликт, война и революция: Проблема политики в концепциях международных отношений / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. С. Щукиной; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2025. — 616 с. — (Политическая теория). — 600 экз. — ISBN 978-5-7598-2974-4 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-4092-3 (e-book).

В книге обсуждаются идеи десяти важнейших мыслителей, которые подвергли сомнению и изменили сам способ осмысления политики, насилия и отношений между государствами, — Фукидида, Августина, Макиавелли, Гоббса, Локка, Руссо, Клаузевица, Ленина вместе с Мао и Шмиттом. Конфликт, война и революция в политической теории обычно считались проблемами, справляться с которыми должны были устойчивые политические сообщества, ориентированные на внутреннюю политику. Но представленные здесь мыслители так или иначе признают конфликт, войну и революцию в качестве неотъемлемых характеристик человеческого опыта, проявляющихся в различных способах политического действия, и в то же время дают принципиально разные ответы на то, как к ним относиться. В книге существенно расширен канон политической теории, поскольку в ней рассматриваются подходы к международной системе, которые ставят под вопрос представление о ее исторической неизбежности и триумфе. Опираясь не только на философию, но и на историю, теологию и право, Келли проясняет многие современные конфликты, помещая их в критический и исторический контекст.

Издание адресовано историкам, политологам, философам и студентам, изучающим общую политическую теорию и теорию международных отношений, а также всем интересующимся историей мысли, стоящей за политическими идеями и современной международной политикой.

УДК 355.01
ББК 87.7+63.3(0)

Перевод выполнен по изданию: *Kelly P. Conflict, War and Revolution. The Problem of Politics in International Political Thought* (LSE Press, 2022).

Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики
<http://id.hse.ru>

doi: 10.17323/978-5-7598-2974-4
ISBN 978-5-7598-2974-4 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-4092-3 (e-book)
ISBN 978-1-909890-72-5 (англ.)

© Paul Kelly 2022 / CC BY 4.0
© Перевод на русский язык.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие и благодарности	10
Глава 1. Введение. Конфликт, война, революция и характер политики	13
Тексты, контексты, мысли или мыслители?	22
Традиции — не обязательно традиции историцизма	31
Где женщины?	37
Обзор аргументации	43
Как пользоваться этой книгой	49
Библиография	51
ЧАСТЬ I. КОНФЛИКТ, ВОЙНА И ПРАВЛЕНИЕ ДО ЭПОХИ ГОСУДАРСТВ	
Глава 2. Фукидид. Естественность войны	55
Общая история Пелопоннесской войны	63
Либерализм Перикла	70
Реализм Фукидида	76
Демократия, война и стасис	86
Библиография	97
Глава 3. Блаженный Августин. Проблема мира в мире насилия	98
Божественный порядок — от Иерусалима к Риму	100
Августин Гиппонский	102
Грех и зло	113
Два града: августиновская теория правления и политики	121
Справедливость и империя	127
Мир и политический порядок	129
Легитимация насилия и справедливая война	135
Христианство, августинианство и международная политика	142
Библиография	154

Глава 4. Никколо Макиавелли.	
Политика и применение насилия	156
Жизнь и время	159
Мысль, теория и сочинения	161
Флоренция, Италия и остальной мир	165
«Учитель зла» – макиавеллиевская новая наука политики	171
Насилие, война и государственный интерес	188
Длинная тень Макиавелли.	204
Библиография	212
Глава 5. Томас Гоббс. Решение проблемы конфликта	214
Две жизни Томаса Гоббса	217
Тридцатилетняя война и гражданская война в Англии	218
Теория человеческой природы	223
Создание суверена	234
Абсолютизм и христианское государство	240
Традиция Гоббса в международных отношениях	244
Почему «Левиафан» невозможен на международном уровне	248
Библиография	256

ЧАСТЬ II. ВОЙНА, РЕВОЛЮЦИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВ

Глава 6. Джон Локк. Либерализм и экстернализация конфликта	261
Жизнь в интересное время — политическая биография Локка	264
Естественное состояние, закон природы, наказание и войны.	267
Собственность, территория, колония и завоевание	278
Политическое общество, согласие и революция	285
Наследие Локка в теории международных отношений	295
Библиография	304
Глава 7. Жан-Жак Руссо. Угроза международному порядку	306
Жизнь и творчество «необычайного мыслителя»	311
Просвещение и международный порядок XVIII в.	316
«Рассуждение о происхождении неравенства» и «дурной договор»	329
«Общественный договор»	338
Международные отношения Руссо — Корсика и Польша	352
Сложное наследие Руссо	356

Заключение	368
Библиография	369
Глава 8. Карл фон Клаузевиц. Профессионализация войны	371
Жизнь и карьера	375
Пруссия и политическая теория:	
контекст работы «О войне»	378
Проблема работы «О войне» Клаузевица.	385
Предмет исследования — что такое война?	393
Две версии троицы?	401
Средства: ведение войны на практике	415
Наследие работы «О войне»	418
Библиография	430
Глава 9. Владимир Ленин и Мао Цзэдун.	
Революция, насилие и война	432
Жизни двух революционеров	437
Маркс: основные положения	445
Ленин и партия: «Что делать?»	452
Капитализм, империализм и нация	462
«Государство и революция»: Ленин и насилие	470
Революция и вызов империализма:	
развитие ленинизма Мао	481
Роль крестьян	484
Насилие и осуществление революции	494
Партизанские войны	502
Ленинизм и маоизм в современную эпоху	508
Заключение: империализм, партийная политика и война	514
Библиография	518
Глава 10. Карл Шмитт. Опасность международного либерального порядка.	520
Шмитт: жизнь и творчество	522
Антилиберализм	528
«Понятие политического»	537
Номос земли и международное право	545
«Теория партизана»	559
Шмитт в современной теории международных отношений	563
Заключение	573
Библиография	573

Глава 11. Заключение. Версии реализма в теории международных отношений	575
Вестфальская система	577
Теория международной политики как критика	586
Реалистический поворот в политической теории	592
Легитимность, насилие и место политики	597
Заключение	600
Библиография	602
Библиография	603

Посвящается Дж. У. Келли (1932–2018)

Предисловие и благодарности

У всех книг есть своя история, и благодарности — повод о ней рассказать. На протяжении почти всей своей карьеры я работал над политической теорией и публиковал работы, в основном в русле либерально-эгалитарного подхода. Эта книга серьезно отличается от них, и это нуждается в объяснении. Проработав почти десятилетие деканом факультета, а потом и проректором Лондонской школы экономики (LSE) — обе эти должности мне нравились, в том числе и потому, что дали мне возможность работать с замечательными людьми, — я вернулся к обычной академической деятельности, стал писать о политической теории и преподавать прекрасным студентам. Однако десятилетие без серьезной работы над публикациями — довольно длительный срок, и я не хотел провести свой академический отпуск в библиотеке, нарабатывая материал для проекта, который удастся реализовать лишь спустя много лет. Мне надо было быстро начать что-то писать, поэтому я подумал о курсе, который преподавал многие годы, решив, что из него можно сделать учебник. Когда Никола Скалли, библиотекарь Лондонской школы экономики, предложила мне написать книгу для нового издательства LSE Press, созданного ею для публикации книг в сети и в открытом доступе, я не мог не ответить на вызов. Я давно интересовался сетевыми публикациями, но скептически относился к книгам в открытом доступе. Я благодарен Николе за приглашение, а Патрику Данливи, ставшему главным редактором LSE Press, за то, что я смог осуществить свое намерение. Я имел удовольствие работать с Патриком и раньше, когда мы издавали журнал, и он остается одним из наиболее способных реализовывать

свои идеи ученых в Лондонской школе экономики и в области социальных наук в Великобритании в целом.

Когда я начал писать эту книгу, я понял, что проект слишком амбициозен. Книга уже достигла большого объема, а я запланировал 24 главы. По ходу работы стало ясно, что мои интересы лежат в определенной области, и книга приобрела более четкую и реалистическую направленность. В итоге оказалось, что особый отпечаток на ней оставили три политических теоретика: поздний Глен Ньюи, Мэтт Слит и Эдуард Холл, бывший моим последним докторантом до того, как я перешел на «темную сторону», — сегодня он известный политический теоретик. Глен для меня всегда оставался своего рода спарринг-партнером, который изящно высмеивал мой либеральный эгалитаризм. Хотя его больше нет с нами, я все еще слышу его реалистические провокационные замечания. Мэтт какое-то время провел в LSE, прежде чем уйти в Шеффилд, и тогда я постепенно начал знакомиться с его работами и их ценить. Но только когда я прочел его «Либеральный реализм», я стал прицельнее размышлять над проблемами политического реализма. Наконец, Эд Холл бросил, пожалуй, самый мощный вызов моим либерально-эгалитарным установкам и в итоге заставил меня отказаться от плана написать книгу о Рональде Дворкине, за что я ему благодарен. Я все еще остаюсь в каком-то смысле либеральным эгалитаристом, но теперь я вижу эту позицию и ее ценности в ином свете благодаря трем этим друзьям, коллегам и в прошлом студентам, а потому иначе отношусь и к мыслителям, о которых в этой книге пишу.

В целом же список моих интеллектуальных задолженностей столь обширен, что я просто поблагодарю всех своих прошлых учителей, всех тех, с кем я работал и чьи работы читал на протяжении последних четырех десятилетий. Я также должен поблагодарить моих теперешних студентов в LSE. Возвращение в учебную аудиторию ради обсуждения интересных идей с талантливыми, по-настоящему блестящими молодыми людьми — бесценная привилегия, которую может предложить только факультет государственного управления Лондонской школы экономики.

Я должен поблагодарить Анну. Я всегда благодарю ее за помощь, но в этот раз все по-другому. В последнее десятилетие она опубликовала четыре книги, проводила выставки и преподавала по всему миру. Эта книга стала возможной благодаря тому, что я

ездил за ней со своим ноутбуком и сетевой библиотекой. Многие главы связаны с местами, составившими историю ее путешествий, по которым она меня таскала. Книга была придумана в Фариндоле в Италии, где она жила в 2018 г. Следующие главы были написаны в Лиможе, на пляже в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия), где я наблюдал за серферами и пил замечательный кофе, работая над Гоббсом, в Нельсоне и Уонгануи (Новая Зеландия), где я писал о Карле Шмитте. Другие главы связаны с Англией: Харрогит, Линкольн, Солсбери, Ритин, Мансфилд, Корнуэлл. Книга была закончена во время локдауна, и воспоминания об этих путешествиях, незримо отпечатавшиеся в каждой из глав, стали для меня невероятно важны, когда наши миры были вынуждены закрыться. Все это время я видел и наслаждался тем, что делала она; теперь же она может увидеть, что я все это время делал.

Книга посвящена моему отцу. Он умер в тот год, когда я начал ее писать. Он не был интеллектуалом и работал на заводе, но много читал и любил политику. Когда я в 1980 г. пошел в университет, он купил мне «Опыт о человеческом разумении» Джона Локка в издании *Clarendon Press* под редакцией П.Г. Ниддича, хотя мог бы купить и более дешевое издание. Книга стала для меня настоящим сокровищем. Эта книга — мой ему дар.

Глава 1

Введение.

Конфликт, война, революция и характер политики

Мы живем в интересное время. Считается, что это китайское проклятие, однако есть кое-какие доказательства того, что английская версия той же максимы — «Пусть тебе доведется пожить в интересное время» — по своему смыслу вполне соответствует китайскому афоризму. Как бы то ни было, наше время действительно интересно тем, что многие прежние представления о политике и исторические тренды ставятся с ног на голову, вызывая беспокойство и волнение, причем жертвы и выгодополучатели этих процессов не определены. Когда в 1989 г. Фрэнсис Фукуяма опубликовал свою знаменитую статью «Конец истории», ее выход совпал с развалом СССР, падением Берлинской стены и завершением холодной войны. Хотя в достаточно сложном аргументе Фукуямы увидели излишний триумфализм, название статьи оказалось созвучным эпохе. И, конечно, всем было совершенно ясно, кто выиграл, а кто проиграл на тот исторический момент. Глобализация (и военная мощь США) сокрушили «реальный социализм», а после Первой войны в заливе в 1991 г. западный военный и экономический порядок казался настоящим историческим благословением. Все это вместе с периодом непрерывного экономического роста в развитых западных экономиках, запущенного дерегулированием и глобальной торговлей в 1990-х и начале 2000-х годов (получившего название «великого успокоения» — *great moderation*), еще больше утвердило правоту глобальных финансов и «Вашингтонского консенсуса», определявшего принципы развития, то есть экономической политики, которую ее сторонники называли «глобализацией», а критики — «неолиберализмом». В Европе и Европейском союзе многие восторженные сторонни-

ки ЕС видели в нем переход от модели национальных государств, представлявшейся «концом истории», к постгосударственному порядку, построенному на тесной кооперации и интеграции, к которой наконец-то можно было снова вернуться. Тот же оптимизм мы можем увидеть и у крупного немецкого социально-политического философа Юргена Хабермаса [Habermas, 2005; Хабермас, 2005], хотя его аргументация более сложна и не ограничивается подобным оптимизмом. В ту пору выходило много книг о развитии «космополитической демократии», мировой политики и новых политических конфигурациях, необходимых для управления этим новым порядком.

Но не все было таким, как казалось. Страшные события 11 сентября 2001 г. стали наиболее опасной атакой на континентальной территории США за всю их историю — группа камикадзе превратила гражданские самолеты в оружие, направив их на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и на Пентагон, штаб-квартиру американского Министерства обороны. Этот теракт, осуществленный, что важно, без применения высоких технологий ранее малоизвестной террористической группой «Аль-Каида»*, стал вызовом для самой передовой в технологическом отношении армии, которая только существовала за всю историю человечества. Ответные действия США в Афганистане (где Талибан** помогал «Аль-Каиде»), а потом в Ираке (где Саддам Хусейн этого не делал) стали началом почти двух десятилетий войны на Ближнем Востоке. СССР с его ядерным оружием перестал быть главным врагом «Запада», вступившего теперь в асимметричную борьбу с джихадистским врагом, равнодушным к смерти и не надеющимся на победу в каком бы то ни было привычном смысле этого слова. «Аль-Каида» не является военной структурой, у которой была бы своя территория, государство или почтовый адрес.

За триумфом неолиберального глобализма и подъемом международного терроризма (сначала «Аль-Каиды», а потом и ИГИЛ***) вскоре последовали и другие события, означавшие то, что международные отношения становятся еще более «интересными» и на-

* Запрещенная в России террористическая организация. — *Примеч. ред.*

** Движение Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. — *Примеч. ред.*

*** Запрещенная в России террористическая организация. — *Примеч. ред.*

пряженными. К таким событиям относятся глобальный финансовый кризис 2007–2008 гг., подъем Китая, ставшего главной опорой мирового финансового порядка (поскольку он является крупнейшим держателем американского долга), последующее укрепление популизма в США и Европе вместе с выбором президента Трампа, протекциониста и националиста, голосование в Великобритании (одной из крупнейших и важнейших в экономическом и политическом отношении стран Европейского союза) за выход из ЕС, последовавшее за референдумом внутри страны (брексит). В глобальных институтах, ранее считавшихся необходимыми для устойчивости мирового порядка и являвшихся основой эпохи «великого успокоения», теперь разглядели недостаточную политическую легитимность. Они оказались под общим ударом политических сил, чей размах превзошел все, что было известно после 1930-х годов. Эти силы создали угрозу для внутривнутриполитических структур, считавшихся для демократической стабильности образцовыми.

Этот сложный паттерн событий, охвативших четыре десятилетия, включал в себя триумф Запада и подъем Востока; триумф глобализации и возрождение протекционизма и экономического национализма; конец холодной войны и начало глобальной войны с терроризмом. Скорость перемен ошеломляла даже и в новом столетии, засвидетельствовавшем беспрецедентные изменения в делах человечества (вплоть до 2021 г.). Этот сдвиг исторической траектории либерального господства и глобального порядка не может не пугать, но можно ли считать его чем-то уникальным? Быть может, история, которую мы наивно считали закончившейся, снова вернулась в повестку? Международные отношения и их осмысление всегда колебались между прогрессивным оптимизмом и революцией, изоляцией и реваншизмом. Хотя поводов для оптимизма остается по-прежнему немало, вызовы актуальных событий и отзвуки прошлых ставят вопросы о том, как мы должны осмысливать политическое действие и агентность, и особенно вопросы об адекватности парадигм, господствующих в осмыслении международной политики.

В этой книге, охватывающей период от древности до нашего времени, я исследую источники некоторых из этих интеллектуальных парадигм, а именно идеи ряда важных фигур, что позволяет прояснить рефлексии политических вызовов и приоритет кризиса и конфликта. При исследовании десяти парадигмальных мысли-

телей — Фукидида, Августина, Макиавелли, Гоббса, Локка, Руссо, Клаузевица, Ленина и Мао, Карла Шмитта — я изучаю дискуссии, важные для осмысления международной политики. Особое внимание здесь уделяется тем, кто желает поставить под вопрос или умерить надежды на искупление и установление порядка в человеческих делах за счет преодоления политики, то есть мыслителям, рассматривающим неискоренимость и вызовы политики, войны и конфликта. В отдельных пунктах такое исследование может представляться «историей» того, что теоретики и исследователи международных отношений называют традицией «реализма», но его цель иная.

Полагание таких традиций, как реализм, заранее дает ответ на вопрос о том, как читать этих мыслителей, предполагая, что все они соответствуют одному нарративу [Doyle, 1997], но это довольно узкий способ их рассмотрения. В данной книге эти ключевые мыслители помещены в более широкий контекст, где они используются для определения и изучения различных способов понимания политической деятельности как автономного способа действовать в мире. Понятие реализма попадает в эту область, поскольку некоторые из обсуждаемых здесь мыслителей были отнесены отдельными исследователями к сторонникам той или иной версии этого взгляда. Но, как мы увидим далее, подведение этих мыслителей под категорию «реализма», используемую в исследованиях международных отношений или в теории международной политики, ставит вопросы о ценности и объеме самого этого понятия (см. главу 11).

Другая причина, по которой эта книга не может считаться просто «историей», состоит в том, что она не стремится быть полной. Конечно, существуют и другие варианты понимания международной политики, другие нарративы, способные, быть может, еще лучше объяснить развитие определенных учений в западной традиции и не только в ней. Но такой полный обзор потребовал бы намного более объемной книги, к тому же он поднял бы вопросы об идее единой истории, от которых я по большей части целенаправленно уклоняюсь (см., однако, главу 11). В этой книге достаточно представить канон мыслителей, чьи идеи и подходы определяют и проясняют некоторые из основных вопросов международной политики и тех вызовов, с которыми она сегодня столкнулась.

Теория международной политики, именно потому, что она пишет свою картину столь широкими мазками, особенно ценна для понимания некоторых наиболее важных вопросов о политике. Но также она оставляет открытыми те именно вопросы, понятия и подходы, которые исследовались представленными здесь десятью крупнейшими мыслителями. Они занимались фундаментальными вопросами природы политической деятельности и механизмов ее осуществления в разные времена и в разных местах — не отдавая приоритет развитию или какому-то определенному типу организации, будь то полис, империя, княжество, толпа, государство, нация, класс или номос.

Подход теории международных отношений помогает выйти за узкие пределы внутренней политики, понимаемой в качестве определения того, «кто получает что, когда и как» [Lasswell, 1936]. Он привлекает внимание к тому, что можно назвать метауровнем, где осуществляется фундаментальная работа разграничения политической агентности. В некоторых стандартных введениях в политические идеи объяснение начинается с людей, понимаемых в качестве акторов, затем оно перемещается вверх — к государству и уровню политического сообщества, а заканчивается на том, как такие сообщества взаимодействуют друг с другом в международной сфере. Эта модель внутренней и международной политики выступает основой для стандартной теории международных отношений, но также она представляется общим местом в курсах по политической теории.

Сосредоточение на международной теории позволяет взглянуть на более широкую картину, из которой в значительной степени как раз и складывается внутренняя политика. Оно не предполагает приоритета внутренней политики и представления о международной политике как проблематичном остатке. Напротив, такой подход понимает вызовы международной политики в качестве если и не первичных и автономных в полном смысле слова, то по крайней мере сопутствующих проблеме разграничения политических сообществ и мест политической агентности. Неудивительно, что в значительной своей части политическая теория и философия считает теорию международных отношений вторичной, чем-то вроде приложения. В этом и заключается наследие работ Гоббса о политической мысли и международных отношениях, отголоски которого можно обнаружить в трудах Джона Ролза,

наиболее значительного политического философа второй половины XX в. Но взгляд Августина и Макиавелли, если привести только два этих примера, был определенно иным, поскольку для них различие между внутренним и международным не имело смысла.

Нарратив, построенный в этой книге, намеренно избегает термина «история», поскольку он не пытается дать обзор всех подходов, обнаруживаемых в курсах по теориям международной политики. Действительно, если вернуться к приведенному мной выше списку способов организации политической агентности, станет ясно, что я намеренно не включил в него такие организующие категории, как индивид, общество или экономика, так или иначе присутствующие в общей картине мышления о международных отношениях, как она определяется в западном каноне. Это решение может быть спорным, однако оно представляет собой сознательную попытку выйти за пределы редуccionистских подходов, сводящих политику к морали, экономике или обществу. Слишком часто современная мысль, занятая нашими глобальными проблемами, предполагает прогрессивное формирование порядка, чьей кульминацией в Новое время оказывается триумф вестфальской государственной системы и ее международных институтов, а также глобализированной рыночной экономики. В этих подходах к международной политике первую скрипку играет отдельный человек, понимаемый в качестве носителя прав и уникального этического достоинства или же в качестве максимизатора индивидуальной полезности, чьи предпочтения строго упорядочены. Во многих академических дискуссиях, в политической теории и политологии эта концепция человека считалась достаточно точным описанием моральной и экономической агентности, а также основанием всех остальных политических структур и групп. Это, в свою очередь, привело к преобладанию некритически понятого и аполитичного космополитизма, скрывшего некоторые из наиболее фундаментальных вызовов современной политики.

В этой книге я не пытаюсь отвергнуть индивидуализм или космополитизм как ценностные системы. Собственно, в другой своей работе я высказался в поддержку определенной версии этого подхода, который назвал либеральным эгалитаризмом [Kelly, 2005]. Но в актуальной ситуации, где под вопрос поставлена сама концепция агентности, поддерживающая такой подход, мне более интересны вызовы, брошенные этому мировоззрению и все больше занимаю-

щие центр сцены. Этот индивидуалистический и космополитический взгляд на саму область политического не только определил форму современной политологии и исследования международных отношений. Он же привел к исключению взглядов, заставляющих нас рассматривать иные способы ведения политики и применения власти, силы и насилия, понимания целей политической деятельности и ее фундаментальной цели. Тогда как в этой книге предпринимается попытка предложить введение в политическое мышление и теорию международной политики, не предполагая при этом, что политическая агентность и институты должны обладать устоявшимся характером и структурой, соответствующими моральному индивидуализму и сходящимися к либеральному конституционализму как наилучшей форме политической организации.

Моя задача — дать этим мыслителям возможность говорить от своего лица, а не сводить их к устоявшемуся историко-культурному нарративу, к таким традициям, как реализм, или таким идеологиям, как либерализм. Соответственно, связующий нарратив должен оставаться абстрактным, общим, высокоуровневым. Тем не менее между главами есть важные связи, объясняющие совмещение определенных мыслителей, расходящееся с альтернативным каноном или нарративом. Для всех этих мыслителей фундаментальную роль играют насилие, конфликт и принуждение. Насилие и конфликт представляются либо неизбежным опытом человечества, скрывающимся под тонкой пленкой цивилизации, либо таким аспектом человеческого опыта, обуздать или скрыть который стремится мораль и общество, хотя он все равно остается основной материей политического действия и агентности. Для некоторых из этих мыслителей опыт такого рода характерен для жизни за пределами защиты, предоставляемой государственным суверенитетом, то есть в анархическом мире международной и межгосударственной политики. Некоторые из них считают насилие неустранимой проблемой. Другие полагают, что насилие в моральном плане двусмысленно, поскольку оно является качеством опыта, поддающимся переработке и переориентации на разные цели. Обычно мы считаем насилие и конфликт чем-то дурным, тем, чего нужно избегать и что необходимо сглаживать. Однако на более фундаментальном уровне можно также утверждать, что они суть естественные силы, осуждаемые нами, когда им дается определенное

описание, но превозносимые в другом. В конце концов, разве порядок не требует принуждения (если не учитывать идей анархистов), как, собственно, и закон или даже мир (если мы последуем в этом пункте Августину)? Наконец, под рубриками войны и революции мы обнаруживаем подходы к политике, направляющие насилие на цели, которые невозможно достичь путем переговоров, обсуждения и компромисса. В случае революции насилие используется для устранения наличного порядка и расчистки пути (пусть и чисто теоретического) для создания мира без насилия и политического принуждения.

Обсуждение и сопоставление этих парадигмальных мыслителей служит теоретическим введением в теорию международной политики. Но что именно представляет такая теория и как она отличается — если отличается — от исследований международных отношений и определенного подраздела таких исследований, а именно теории международных отношений, или, наконец, от исследования истории политической мысли? Теория международных отношений и история политической мысли — признанные академические дисциплины. Поэтому важно показать то, что теория международной политики — не просто неловкое переименование уже известной дисциплины или же упрощенная, менее четкая версия некоего академического направления. В двух следующих разделах я попытаюсь обосновать теорию международной политики и отличить ее от истории политической мысли. Но, прежде чем обратиться к этому обоснованию, я хочу провести различие между теорией международной политики и теорией международных отношений.

Различие между теорией международных отношений и теорией международной политики сформировалось в последние несколько десятилетий в качестве следствия развития международных отношений как академической дисциплины, с одной стороны, и развития нормативной политической теории и прикладной этики в политологии — с другой. Наиболее убедительное объяснение отделения теории международной политики от основной линии теории международных отношений было предложено Крисом Брауном. Он связал его со все большим поворотом социальных наук к позитивизму, то есть к исследованию с целью объяснения, предполагающему, что факты или объекты исследования устойчивы и могут изучаться примерно так же, как в естественных науках

[Brown, 2015; Brown, Eckersley, 2018]. Примером такого позитивистского поворота может быть применение формального моделирования и экономистских форм теории (таких, как теория рационального выбора) к традиционным вопросам национальных и государственных взаимодействий и договоренностей, в том числе у таких ведущих теоретиков, как Кеннет Уолц [Waltz, 1979]. По словам Брауна, теоретики международной политики — авторы, которые видят в этом повороте неудачное отступление от гуманитарных подходов к исследованию международных отношений, характерных для ранних периодов этой дисциплины.

Однако вопрос не сводится к войне между методами количественной и формальной теории с качественными или историческими подходами. Он также связан с направлением и стилем аргументации в области международных отношений. Поворот к позитивизму и приоритет объяснения, а не нормативных и прескриптивных аргументов совпал с возрождением нормативных аргументов в политической теории и прикладной этике под влиянием таких крупных теоретиков, как Джон Ролз, Майкл Уолцер и Питер Сингер [Forrester, 2019]. Эти мыслители инициировали дискуссии или возродили обсуждение некоторых вопросов о распределительной справедливости и государственной легитимности, оправдании войны и наших обязанностях перед другими людьми в ситуации голода или глобальной нищеты. Все эти вопросы содержат в себе определенный элемент, связывающий их с хорошо известной интеллектуальной территорией традиционной теории международных отношений. Однако они отстраняются от нее, поскольку либо ставят ее явные этатистские посылки под вопрос, либо пытаются выработать нормативные и прескриптивные концепции, говорящие о том, что *должны* делать государства или другие международные агенты независимо от того, что они, скорее всего, будут делать, следуя собственным интересам. Часто развитие дисциплин проистекает из признания интересных и интеллектуально воодушевляющих идей, приходящих извне, — так, современная поведенческая экономика обратилась к экспериментальной психологии. То же самое относится и к теории международной политики. Но в то же время в ней нет поворота к знакомой нам нормативной политической мысли, часто не слишком осведомленной о реалиях международных отношений и политики. Именно критическая работа с нормативными и прескриптивными аргумента-

ми о международных отношениях — вот что определяет важность и жизнеспособность исследований теории международной политики. Тем же объясняется и конкретный выбор парадигмальных мыслителей в этой книге. Теория международной политики не отвергает и не игнорирует нормативные и прескриптивные аргументы и не считает их методологически примитивными, в отличие от того, как, на ее взгляд, порой поступает стандартная теория международных отношений. Скорее она снова выводит их на первый план, где они сталкиваются с вызовами, определяющими и будоражащими нашу эпоху. Тем самым теория международной политики поднимает вопросы о теоретическом словаре, источниках и объеме подходов, о языках и понятиях — то есть о том именно, что рассматривается в этой книге.

ТЕКСТЫ, КОНТЕКСТЫ, МЫСЛИ ИЛИ МЫСЛИТЕЛИ?

Исследование трудов группы мыслителей прошлого часто называется созданием канона. Этот подход был вполне узнаваемой частью исследования политики с момента возникновения политологии как науки к концу XIX в. [Boucher, 1985; Kelly, 1999]. Чаще всего ряд мыслителей объединяли для того, чтобы проиллюстрировать господствующую историю возникновения современного государства. Осмысление этих мыслителей прошлого было частью деятельности, обращенной вперед и выдвигающей аргументы, принципы и институциональные модели, которые затем можно было сопоставить с актуальным развитием — и все это с целью легитимации или усовершенствования современной системы либерального государства. Так же, как и на раннем этапе исследования международных отношений, многие аргументы, основанные на исследовании такого типа, были одновременно прескриптивными и нормативными. Когда после Второй мировой войны политология сформировалась в виде современной дисциплины, значение политической мысли снизилось, уступив место исследованию политического поведения, политических институтов и развитию сравнительной политологии. Общее и эклектичное исследование политических мыслителей стало казаться в интеллектуальном смысле грубым, поскольку ему недоставало строгости метода, или же оно было вынуждено следовать афоризму кембриджского конституционного историка XIX в. Ф.У. Мейтленда, заметившего, что поли-

тическая наука — «либо история, либо чепуха». У новой области был свой метод, но его интеллектуальной обителью представлялась история как отдельная дисциплина. Радикальным критикам современного государства история позволяла также громить современность, показывая, что современные политические ценности и институты были запятнаны своим происхождением, то есть колониализмом и патриархатом. Благодаря последующему развитию нормативной политической теории (у Ролза, Уолцера и Сингера), исследование политических идей прошлого стало казаться ненужным отвлечением. Вместо него мы должны «мыслить самостоятельно», как сказал Брайан Барри, один из самых непреклонных нормативных политических теоретиков Британии [Barry, 1965; Forrester, 2019].

В этом контексте революция в методологии истории политической мысли, связанная с Квентином Скиннером и его коллегами, позволила историкам идей заявить о своих правах на всю территорию политической мысли прошлого. В своих основополагающих работах — включая «Значение и понимание в истории идей» [Skinner, 1969] и ставшее сегодня классикой двухтомное исследование «Истоки современной политической мысли» [Скиннер, 2018] — он определил ориентиры для любой убедительной истории политических идей и в значительной мере обесценил любые альтернативные применения «исторических» текстов для исследования политических идей, в том числе о международной политике. В статье Скиннера 1969 г. проводится мощная критика текстуализма и одновременно контекстуализма как подходящих методов исследования.

С его точки зрения, текстуалисты грешат мифом согласованности, поскольку утверждают, что какая-то отдельная книга или текст — подходящий для исследований объект. Это заставляет поднимать общие вопросы о возможности сведения мысли автора к одной конкретной работе, особенно если учесть, что у многих авторов (в том числе некоторых из тех, что включены в данную книгу) много разных работ. Не самым мало важным является и вопрос о согласованности ранних и поздних работ того или иного автора. В случае Фукидида я работаю с одним-единственным источником, тогда как Макиавелли и Руссо разрабатывали свои аргументы в ряде различных книг. Не навязывает ли текстуализм мифического единообразия аргументам, существенно друг от друга отличающимся?

Этот момент может оказаться еще более острым, если мы спросим о согласованности мысли автора в пределах одного текста. Действительно ли тексты, под которыми мы обычно имеем в виду книги, образованы одним-единственным аргументом или позицией? С точки зрения Скиннера, положительный ответ на этот вопрос делает историческое исследование ненужным. Тогда как контекстуалисты, наоборот, выходят за пределы книги, чтобы понять ее значение. В таком случае книги рассматриваются в качестве эпифеноменов более общих социально-экономических сил, которые, в свою очередь, объясняют их значение и влияние. Например, Скиннер критикует данную К.Б. Макферсоном интерпретацию английских философов XVII в. Томаса Гоббса и Джона Локка как представителей «собственнического индивидуализма» или же как рационализацию формирующейся в ту пору классовой политики раннесовременного капитализма [Macpherson, 1962].

Проблема контекстуализма такого рода, однако, в том, что он занимается редукцией. Он переводит внимание с текстов как независимых идейных миров на их социальный контекст, но не уточняет причинно-следственную связь между этими силами и логикой или формой какого-то конкретного аргумента. Короче говоря, он мало что может сказать о том, почему аргументы Гоббса обладают той формой, каковая у них действительно есть. В конце концов, многие современники Гоббса писали книги, в которых не было никакой связанной с капитализмом рационализации индивидуализма.

Отвечая на недостатки этих конкурирующих подходов, Скиннер предлагает свою собственную методологию лингвистического контекстуализма, опираясь на теорию языковых актов таких лингвистических философов, как Дж.Л. Остин и Дж. Сёрл, и на логику вопросов и ответов, которая служит основой философии истории Р.Дж. Коллингвуда [Коллингвуд, 1980].

За историческим методом Скиннера стоит тезис о приоритете исторического подхода к мысли прошлого и попытка провести различие между подлинным пониманием высказываний (или речевых актов) мыслителей прошлого и навязанными им интерпретациями и искажениями, определявшимися идеологическими предпочтениями более поздних толкователей. Высказывания — это в данном случае технический термин философии языка, однако у Скиннера к высказываниям относятся аргументы, предложения и

положения сложных работ. Так, высказыванием может быть «Левиафан» Гоббса, но точно так же высказываниями могут быть его частные аргументы о естественном состоянии или даже определенные тезисы в этих аргументах, сводящиеся к отдельному пассажи или предложению. Исторический вопрос — это вопрос о том, что такие высказывания означают. Ответом на этот вопрос служит реконструкция лингвистического контекста, отличного от социально-экономического. Этот шаг задает пределы того, как такие высказывания могли бы пониматься аудиторией, современной автору, что, в свою очередь, определяет, что автор намеревался сделать, делая то именно высказывание, которое он сделал. Политический язык — это всегда результат чьей-то попытки сделать что-то посредством речи и языка. С точки зрения Скиннера, то, что представляет собой такое действие, — вопрос исторический, а все остальное для него, помимо такой истории, не имеет значения.

Метод Скиннера не остался без ответа критиков, и я сам разовью эту критику далее. Однако несомненная сила его аргументов и интеллектуальной программы преобразовала изучение политической мысли прошлого, продолжая и сегодня служить источником вдохновения для исследователей. Различные аспекты его подхода остаются действенными исследовательскими инструментами, даже если мы не принимаем его аргументы относительно приоритета истории. Недавно определенный вариант этого лингво-исторического подхода был расширен на международную теорию в работе Дэвида Армитиджа [Armitage, 2012].

В этой книге мы сосредоточиваемся на отдельных текстах, на сочетаниях текстов, а также, в некоторых случаях, на сочетаниях мыслителей, которые, как я покажу, вносят дополнительный вклад в определенные дискуссии или подходы. При этом в главах приводится мало сведений о лингвистическом контексте, как, впрочем, и о других контекстах, которые, следовательно, не считаются нами основой для первичного объяснения, пусть даже мы определяем исторический контекст каждого мыслителя. Аргументация в этой книге выходит за пределы конкретных исторических тезисов, что позволяет оценить логическую и трансисторическую ценность определенных аргументов и подходов, а также того, как та или иная мысль все еще используется в современных спорах и доводах. В лучшем случае такой подход может показаться грубым и упрощенным, подходящим, возможно, для учебника начального

уровня, от которого надо отказаться, как только начинается серьезное исследование. В худшем же мой подход может быть признан попросту категориальной ошибкой, в которой история вырождается в практику и практическую аргументацию.

Защищая этот подход и отстаивая его перед читателями и студентами, я не буду заявлять, что скиннеровский метод раскрытия исторического значения неверен, хотя и считаю его слишком узким. Вместо этого я хочу отказаться от заметного у Скиннера возвеличивания исторического применения текстов прошлого как единственного в интеллектуальном смысле достойного. Эта позиция закрепляет представление о том, что политическая мысль и критика не могут освободиться от источников, из которых они возникают, а потому отделяет их обеих от политической теории как деятельности. Вытекающее из этой позиции неуважение к аргументам мыслителей прошлого, сегодня представляющих, как считается, лишь исторический интерес, оказало пагубное воздействие на современную политическую теорию и теорию международной политики. Сугубо историческая концепция политического исследования, особенно та, что действительно отрицает всякий авторитет неисторического толкования смысла, объема и плодотворности великих политических текстов, существенно обедняет нашу способность отвечать на вызовы, бросаемые современным миром. Приоритет исторического исследования мысли прошлого имеет смысл только в том случае, если это единственный убедительный подход к текстам и мыслителям прошлого. А это можно доказать только в том случае, если в историко-лингвистической интерпретации значений, отстаиваемой Скиннером, есть нечто особенное. Если же историко-лингвистический подход — лишь один из многих обоснованных способов реконструкции текста, то привилегия исторического подхода в ущерб всем остальным способам интерпретации несостоятельна, тогда как возможность творческой интерпретации остается частью политического мышления.

Не вдаваясь на этой стадии в излишне техническое обсуждение, можно отметить, что значение сложных текстов (даже сконструированных теми различными способами, что обосновывает Скиннер) не исчерпывается определенным лингвистическим контекстом того или иного высказывания, в отличие от конкретного речевого акта. Письменные тексты не исчерпываются теми смыслами, которые, возможно, сознательно закладывал автор, или же

конкретной интерпретацией определенного спектра намерений в данном дискурсе. Поскольку многие тексты опосредованы прошедшим с момента их возникновения временем, они накапливают значения, которые не навязываются текстам, но в то же время и не содержатся в пределах данного лингвистического контекста. Тексты не тождественны устным высказываниям, которые отличаются исторической частностью, эмпиричностью и мимолетностью. Тексты проживают жизнь, не ограниченную жизнями авторов или опытом тех, кто был их первыми читателями. Лингвистические контексты сами состоят из констелляций речевых актов, которые, в свою очередь, являются частями более обширных языков, выходящих за пределы исторически ограниченного места. Это не значит, что при интерпретации великих текстов годится что угодно, однако этим ставится под вопрос задача определения лингвистического контекста. Моя мысль не просто в том, что лингвистические контексты не могут быть замкнутыми и определяться в строгом виде. Я хотел бы отметить, что значение письменных текстов больше того, что было сказано в определенном контексте, поскольку оно определяется читателями, интерпретаторами и критиками на протяжении длительного исторического времени. Кроме того, историко-лингвистические вопросы, которые можно поставить тому или иному тексту, — не единственные. Идеологическое и философское применение — важная часть того, что тот или иной конкретный читатель может понять из аргументов текста.

Мой тезис не равен поспешным заверениям некоторых постмодернистов о смерти автора и открытой текстуре всех текстов, указывающих на то, что годится что угодно. На самом деле я хотел бы вслед за Полем Рикёром отметить, что в текстах присутствует избыточное значение, превосходящее авторское намерение или понимание его прямой аудитории. Я хочу защитить представление о *настоянии* (*overstanding*) текстов, связанное с американским литературным критиком Уэйном Бутом [Booth, 1979; 1988]. Действительно, если посмотреть на литературную критику, представление о том, что единственным обоснованным подходом к значению текста является сугубо исторический, покажется смешным. Никто не стал бы утверждать ничего подобного о литературном каноне. Конечно, такие литературные тексты, как романы, пьесы или стихотворения, отличаются от политических текстов, хотя эта разница порой преувеличивается и не всегда на самом деле суще-

ственна [Boucher, 1985]. Я хочу подчеркнуть то, что, как и в случае литературных текстов, устранение неподобающих прочтений (выражение Бута) осуществляется не просто за счет сосредоточения на конкретном историческом контексте данного текста. С точки зрения Бута, само представление о неподобающих интерпретациях не столько указывает на проблему, которую нужно устранить, сколько является частью процесса «настояния» или достижения интерпретаций, отражающих разные применения текстов читателями и критиками, — применения, которые, в свою очередь, могут выдержать критическую проверку. Поэтому, не погружаясь в слишком длинное теоретическое обсуждение подходящей для критики методологии (единственное и окончательное определение которой, по мнению Бута как защитника плюрализма и этического прочтения, невозможно), мы можем определить интеллектуально убедительные практики и дискурсы, не отдающие приоритета историческому способу понимания.

Хотя Скиннер прав, указывая в своих работах на то, что многие интерпретаторы политических текстов искажают смыслы мыслителей, ими изучаемых, часто такое искажение сопутствует любой работе критика, то есть определяется критической работой с аргументом, отличной от исключительно исторического суждения. Можно многое сказать об искаженном понимании Гоббса как собственнического индивидуалиста, не прибегая к лингво-контекстуальному аргументу, и тем самым подкрепить представление о том, что можно очень многое понять благодаря тщательному прочтению, сравнению и сопоставлению с другими текстами и мыслителями. Хотя значение тщательного прочтения легко преуменьшить — так же, как Скиннер преуменьшает заслуги исследований Джона Пламенаца, поскольку последний предполагает, что мы можем понять аргумент мыслителя, просто несколько раз тщательно его прочитав. Пламенац не был на самом деле неправ [Plamenz, 1963]. Можно прочесть Фукидида в переводе и понять значительную часть его довольно сложных аргументов о значении исторических событий и идей. Несомненно, было бы лучше прочесть его на греческом, но просто неверно утверждать, что, если не читать в подлиннике и лишь в том же духе, что и его современники, невозможно понять смысл и ценность высказываний определенного автора. Задачи теории международной политики являются еще и нормативными, а в некоторых случаях и прескриптивными. На-

пример, многие аргументы обосновывают и объясняют право на войну, а нормативные аргументы требуют нормативной критики. Таким образом, ясно, что наше исследование — не просто разновидность литературной критики, если только, разумеется, она не включает определенные этические и нормативные задачи.

Я также отвергаю ложную оппозицию мыслителей и текстов. В некоторых главах мы сосредоточиваемся на текстах, в некоторых — на определенном числе текстов одного и того же мыслителя, тогда как в других сравниваются два текста и мыслителя, что служит введению более общей теории или позиции. Соответственно, я не привожу исчерпывающих аргументов об исторической идентичности определенного мыслителя, текста, теории или содержащихся в ней идей. Исторические утверждения я ограничиваю историческими сведениями, понимая при этом, что любые интерпретации такого рода являются частичными и неполными, хотя это и относится ко всякой интерпретации, ведь она никогда не может быть окончательной. В действительности такие интерпретации и критические разборы следует считать чем-то вроде «идеальных типов» Вебера или парадигм Куна. Они целенаправленно выносят за скобки некоторые аспекты полного описания, чтобы упростить объяснение и сравнение, но при этом объясняют нормативную силу того или иного подхода к политической агентности [Кун, 2003].

Томас Кун ввел идею парадигмы в своей исторической эпистемологии научного познания и изменения теорий, отказавшись от задачи выработки критерия научности как таковой, каким могла быть, к примеру, фальсифицируемость Поппера [Поппер, 2005]. С точки зрения Поппера, признаком истинно научного утверждения является то, что оно в принципе может быть фальсифицировано опытом и контрпримерами, а если оно не было фальсифицировано, этот факт позволяет оценить его обоснованность. Утверждения, которые в принципе не могут быть фальсифицированы, особенно те, что включают в себя все возможные контраргументы, не являются научными — таковы религия, миф или всеобъемлющие научные теории вроде марксизма. Кун же отстаивал представление о науке, которое, по его замечанию, ближе к научной практике, где нормальная наука основывается на проработке проблем в рамках контекста, определяющегося общей парадигмой или концептуальным аппаратом. Перемены в науке характеризу-

ются постепенным накоплением знаний в данной парадигме, но размечаются периодическими революционными трансформациями, меняющими общую рамку исследований в ответ на неустраняемые аномалии в предшествующей парадигме. Эта идея иллюстрируется тем, как коперниканское гелиоцентрическое представление об универсуме изменило способ постановки вопросов космологами и астрономами, что, в свою очередь, позволило новой физике Галилея и Ньютона прийти на смену птолемеевскому универсуму, как он понимался в древности. Затем ньютоновская парадигма успешно прослужила общей концептуальной рамкой вплоть до Эйнштейна и квантовой революции начала XX в. И в том, и в другом случае Кун сосредоточивается на том, как мировоззрение новой парадигмы переоформляет нормальную практику ученых, большинство из которых работают над малыми поэтапными проблемами, не обращая внимания на общее согласование своей работы с трудом всех остальных ученых. Именно революции и сдвиги парадигм — вот что объясняет научный прогресс и вопросы, которые живут и умирают в нормальной науке.

Кун разработал свой язык парадигм, нормальной и революционной науки в специфическом контексте социологии знания и практики строгого научного исследования. А в менее строгом представлении о парадигмах как общих мировоззрениях или рамках, определяющих структуру обычной деятельности и понимание, они стали применяться многими исследователями как обозначение для замкнутых интеллектуальных аппаратов, которые влияют на способы определения проблем и языка деятельности. В политической теории и теории международной политики это позволяет выделять различные способы описания существа политики, не впадая в ошибочное представление о том, что существует лишь один бесспорный объект исследования, который постепенно раскрывается в историческом развитии или эволюции политической теории. Называя тексты, аргументы и мыслителей, представленных в этой книге, парадигмальными, я подчеркиваю то, что они определяют рамки осмысления природы политической агентности, ее институциональное и территориальное проявление, но не предполагаю при этом, что каждый мыслитель или аргумент участвует в прогрессивном движении, преодолевающим идеи каждого предыдущего мыслителя, включенного в мой нарратив. Эти обособленные парадигмальные взгляды можно поставить под вопрос или же

преодолеть, опираясь на идеи других парадигмальных мыслителей в этом нарративе. Однако их ценность заключена прежде всего в том, что они служат примерами различных способов осмысления насилия, силы и конфликтов, то есть во вкладе в понимание различных политических вызовов. Оправдание таких идеально-типических интерпретаций состоит в том, насколько они полезны для аргументов, проясняемых или выражаемых ими, а не просто в том, насколько они точны в качестве описаний намерений определенных исторических фигур, будь то авторы или их читатели-современники.

ТРАДИЦИИ — НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРАДИЦИИ ИСТОРИЦИЗМА

В одном очевидном смысле мое нежелание определить историю, которая бы подкрепляла мой «канон» великих произведений (первоначально под каноном имелось в виду собрание священных текстов), само по себе достаточно интересно. В конце концов, я предлагаю хронологическую последовательность, которая начинается с древних греков, живших в V в. до н.э., и заканчивается такими мыслителями XX в., как Шмитт. Если такой нарратив — не история, то что? Однако хронология — это просто список текстов в порядке их написания или публикации. Он не предполагает обращения с прошлым как «прошлым», подводящего его под практическую или философскую интерпретацию, подчеркивающую значение самого его положения как «прошлого» [Oakeshott, 1983]. Выше я утверждал, что отнесение текста к прошлому не определяет в полной мере его интерпретации и критического применения. Но есть и другое измерение истории (противоположное простой хронологии), состоящее в том, что такая последовательность упорядочивается определенной философской категорией.

Для канона можно было бы привести ряд возможных упорядочивающих его нарративов, которые я открыто отвергаю, насколько обоснованно — решать читателю. Например, мы могли бы понять движение от одной главы к другой как «прогресс» в мышлении, то есть положительное развитие от греков к современному государству или его постмодернистскому замещению. Во многих историях политической или международной мысли используется такой нарратив прогресса, который часто называют «историей виггов».

«История вигов» связывается с историком XIX в. Томасом Бабингтоном Маколеем, который считал английскую конституционную политику историческим триумфом принципов Славной революции, развивавшихся с 1688 по 1832 г. Такой подход, хотя он и может быть подходящим для политических или идеологических целей, подводит детали и сложности реальной политической мысли и реальных событий под заранее выбранную политическую цель, в случае вигов — под триумф английского политического либерализма. При этом утверждается, что у истории есть цель, осуществление которой ведет к господствующему в настоящий момент политическому порядку и его легитимации. Особенно внимательно я отношусь именно к этому риску. Поскольку я являюсь автором книги о политическом либерализме [Kelly, 2005], мне было бы очень легко впасть в эту ошибку и заявить, что история поддерживает триумф этих ценностей — что, собственно, и говорит тезис Фрэнсиса Фукуямы о конце истории, если следовать его грубой интерпретации. Конечно, довольно сложная аргументация Фукуямы на самом деле не предполагала такого наивного исторического детерминизма. Однако многие современные и известные из истории неолибералы, неоконсерваторы и марксисты разделяют такие именно грубые взгляды на логику истории и пытаются облечь их в аргументы Гегеля или Маркса. Либералы предполагают постепенную победу конституционных государств и свободных рынков, тогда как марксисты предлагают зеркальный образ прогресса, осуществляемого в цепочке кризисов, направленных в конечном счете на социалистическую революцию, которая должна отменить любую эксплуатацию и конфликт. Хотя их нарративы разнятся, в обоих подходах предполагается, что у истории есть определенная логика, которая ведет к искуплению человека. Проблемы, связанные с прогрессом, историческим изменением и самой идеей искупления, — темы, которые здесь исследуются иначе. Все мыслители, представленные в этой книге, бросают вызов либеральным и марксистским теориям модернизации и искупления, отказываются от них или же стремятся их опровергнуть.

Поэтому, чтобы избежать недоразумений, позвольте мне прямо сказать, что у истории нет логики, будь она либеральной, марксистской или какой-то иной. Если мы желаем защищать либеральные или консервативные ценности, демократию или автократию, тогда аргументы в их защиту должны быть самостоятельными, то

есть их нельзя вывести из нарратива истории. Я хотел бы верить в то, что можно дать какое-то оправдание, основанное на идее «совершенствования», мирным, либеральным и человеческим ценностям, однако подобные тезисы требуют независимых аргументов, их обосновывающих. История может играть определенную роль в выработке подобных оправданий, но вся аргументация к ней не сводится. Она допускает альтернативные, не-прогрессистские нарративы, отрицающие наличие какого-либо пути к освобождению от угнетения и невежества и представляющие ее в качестве традиции угнетения и господства, причем политические идеи, известные из истории, предоставляют для этого идеологическое оправдание.

Другой способ понимания «истории вигов» или прогрессивных историй мысли, завершающихся триумфом человеческого освобождения, опровергает их, показывая, что люди, выступавшие защитниками свободы, в то же самое время оправдывали колониальную экспансию и господство, расовое подчинение и ориентализм [Саид, 2021]. В этом случае история раскрывает нарратив господства и конфликта. Сторонники деколонизации канона часто указывают на то, что западные политические теоретики раннего Нового времени, такие как Гоббс и Локк, были связаны с колониальной и имперской экспансией своих стран, даже если прямо не защищали конечную стадию колониального меркантилистского империализма. История колониализма и империи может предоставить важный контекст для интерпретации, даже если она не объясняет, что пытался сделать тот или иной автор. Более сложный вопрос состоит в том, подрывает ли такая связь аргументы подобных авторов, особенно если мы обсуждаем те их аргументы, которые прямо не выражают колониальное господство и не оправдывают его. Если мы пытаемся оправдать определенные политические ценности, опираясь на аргументы мыслителя прошлого, вполне может быть так, что наши аргументы будут подобным контекстом подорваны. Однако общий социально-экономический контекст или применение того или иного произведения не обязательно определяет значение такого произведения. Двудликий характер прогрессивных историй заставил таких постмодернистов, как Ж.-Ф. Лиотар, отказаться от любых метанарративов [Лиотар, 1998]. Канон мыслителей, представленных в этой книге, очевидно, уклоняется от прогрессистского прочтения теории международной политики, но точно так же

он не подкрепляет и постмодернистскую критику, хотя и признает ценность подрыва наивного исторического оптимизма.

Уклониться от неявных метанарративов сложно, но можно, если только не верить в наивный исторический редукционизм, подчиняющий реальные идеи отдельных текстов и мыслителей подобным трансисторическим идеям. Совмещая разных мыслителей в одной последовательности, я хочу открыть пространство для сравнения и сопоставления, прояснить дискуссии о природе и объеме политической агентности на международном уровне, а не конструировать уже известную традицию, такую как «реализм», в рамках которой следует понимать международную политику. Такие метанарративы, как реализм, идеализм, либерализм и марксизм, — политические конструкции, берущие идеи отдельных мыслителей или ключевые понятия, связанные с определенными группами мыслителей, и объединяющие их так, чтобы они служили политической мотивацией. Подобный политический дискурс лучше всего называть идеологическим мышлением [Freeden, 1996]. Многие исследователи политической мысли относятся к идеологическому мышлению с пренебрежением, считая его фальшивой историей, категориальной ошибкой или практическим искажением в прочтении того или иного мыслителя. Такая критика может оказаться чрезмерной. На самом деле нет ничего интеллектуально постыдного в таких идеологических нарративах, как «либерализм» или «реализм», если только они не сочетаются с неоправданными заявлениями причинно-следственного толка, призванными их якобы подкрепить.

Но если мы отвергаем любой упорядочивающий нарратив и идеологические конструкции канона, значит ли это, что у нас останется лишь список мыслителей, выстроенных в простом хронологическом порядке? В более сложных в философском отношении историях мысли, которые не желают ограничиваться интерпретацией определенных мыслителей, часто применяется представление о «традициях», находящихся в том или ином диалектическом отношении друг к другу, в силу которого различные теоретические позиции развиваются из понятийных противоположностей, возникающих между позицией и ее «отрицанием» или антитезисом. Классическим примером является борьба индивидуализма и коммунизма. В этом случае история мысли объясняется как развитие традиций, отвечающих на противоречия во взглядах их фи-

лософских предшественников. Этот подход можно увидеть в цепочке из трех традиций, выделенных Мартином Уайтом, а именно реализме, рационализме и революции, которые он назвал именами мыслителей, эти позиции выражающих, — традициями Макиавелли, Гроция и Канта [Wight, 1994].

Более сложная и безусловно философская теория такого типа предлагается также Дэвидом Бушером, который проводит различие между эмпирическим реализмом, универсальным нравственным порядком и историческим разумом. С точки зрения Бушера, эти конструкции не просто извлекаются из групп заранее проинтерпретированных теоретиков, как в случае Уайта. Скорее они используют философские понятия, выведенные из интерпретации этих мыслителей, но также ею и оправданные. Сами эти упорядочивающие понятия имеют философский статус. Они объясняют развитие идей не в категориях внешнего причинно-следственного описания исторических событий, но диалектического движения аргументов, преодолевающих собственные внутренние противоречия. Ценность таких философских историй в том, что они объясняют парадигмальную важность великих мыслителей в рамках канона, отличая их от менее значительных или второразрядных мыслителей. Также они признают значение подлинного философского диалога мыслителей. Например, Руссо, помимо всего прочего, еще и отвечал Гоббсу. Триадиические нарративы (как у Уайта или Бушера) — не единственные упорядочивающие традиции. Браун предлагает сходное диалектическое противопоставление космополитического и коммунитарного мышления, хотя и использует его для упорядочивания лишь современных теорий, а не значительных исторических периодов [Brown, 2002]. К тому же разряду можно отнести и хорошо известное противопоставление реализма и идеализма, которым была увлечена теория международных отношений на ранних этапах становления этой дисциплины. Одна из интерпретаций канона, представленного в этой книге, состоит в том, что он отображает «реалистическую» традицию, которую можно сопоставить с другими традициями в подобной исторической диалектике.

Классические традиции либерального или государственного прогрессизма легко подорвать, представив их в качестве хитрых оправданий колониализма или культурного империализма, в которых преобладает взгляд белых западных мыслителей. История тео-

рии международных отношений (пусть даже частичная, то есть покрывающая только одну ее часть, а именно реализм), включающая исключительно белых мыслителей, ставит серьезные и действительно оправданные вопросы относительно ее — как хранильницы истины или разума — претензии на универсальность. Если западный канон — не единственное хранилище разума и истины, тогда почему он не включает в свою историю незападных мыслителей? Простой, но поспешный ответ требует сузить историю географическими границами, указав на то, что возможны только частичные истории — нет полной глобальной истории осмысления международной политики. Но даже эта позиция не отвечает на вопрос о включении. Любое описание, претендующее на полноту, всегда может критиковаться на основе того, что оно кого-то включает, а кого-то исключает; оно подкрепляет утверждения о значимости, маргинальности и отсутствии самим этим включением и исключением. Некоторые основания для избирательного включения оправданны, поскольку хрестоматийные каноны часто ограничены доступностью текстов, используемых студентами в обучении. Было бы фантазией предполагать, что какое-нибудь поколение студентов сможет приобрести все книги (в основном в переводах), которые бы позволили создать действительно инклюзивную глобальную учебную программу по теории международных отношений и истории политической мысли. В других случаях отбор не столь благотворен, поскольку он предполагает то или иное скрытое основание определенного канона текстов, которые не просто иллюстрируют различия в мысли, но сходятся к какому-то правильному способу жить и выстраивать политику вместе с международными отношениями. В этой версии, довольно распространенной в политической философии, отдельные главы — это просто стадии на пути к истине или правильному ответу.

Выбор представляет серьезную задачу для любого автора подобной книги, поскольку недостаточно сказать, что он не входил в мои осознанные цели. Всегда остается возможность, что критерии включения и общего нарратива содержат неявные «исключения» или метанарративы. Действительно, «деконструкция», пусть ее часто и порицали, занимается такой именно проблемой — разоблачением того, что понятийные языки всегда воплощают в себе те или иные исключения. Например, претензия, которую можно лег-

СЕРИЯ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»

основана в 2009 г. Валерием Анашвили

В серии вышли: <https://id.hse.ru/books/series/25279520>

Научное издание

Пол Келли

КОНФЛИКТ, ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ
ПРОБЛЕМА ПОЛИТИКИ В КОНЦЕПЦИЯХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Зав. книжной редакцией Елена Бережнова

Редактор Константин Залесский

Верстка: Юлия Петрина

Корректор Ольга Ростковская

Дизайн обложек серии: ABCdesign

Макет обложки: ABCdesign

Дарья Зацарная

Дизайн блока серии: Сергей Зиновьев

Иллюстрация на обложке:

<https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/BK-1964-7-B>

Все новости издательства — <http://id.hse.ru>

По вопросам закупки книг обращайтесь в отдел реализации

Тел.: +7 495 772-95-90 доб. 15295, 15296, 15297

bookmarket@hse.ru

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20

Тел.: +7 495 772-95-90 доб. 15285

Подписано в печать 16.12.2024. Формат 60×100/16

Усл. печ. л. 42,7. Уч.-изд. л. 33,7.

Тираж 600 экз. Изд. № 2822. Заказ №

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»

428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13,

Тел.: +7 8352 56-00-23